

Телепова

Одна книга. Два почерка. Четыре шага



ДО ЧЕТВЕРГА

Злата Телєпова

До четверга

«Автор»

2026

Телепова З.

До четверга / З. Телепова — «Автор», 2026

Я не знала, что надпись «До четверга» станет для меня чем-то вроде обещания. Не знала, что человек, который её оставил, однажды скажет мне: «Ты читаешь эти книги, чтобы не оставаться наедине с собой. А я читаю, чтобы быть рядом с тобой». Боль исчезнет, оставив приятную память.

© Телепова З., 2026

© Автор, 2026

Содержание

...	5
Пролог	6
Глава 1. Прилив	7
Глава 2. Собеседник	9
Глава 3. Второй почерк	11
Глава 4. Правила игры	13
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Злата Телупова

До четверга

...

Я не знала, что надпись «До четверга» станет для меня чем-то вроде обещания. Не знала, что человек, который её оставил, однажды скажет мне: «Ты читаешь эти книги, чтобы не оставаться наедине с собой. А я читаю, чтобы быть рядом с тобой». Когда наступит четверг... Боль исчезнет, оставив память.

Пролог

У нас в магазине есть правило: книга возвращается на полку раскрытой, лицом наружу. Так её может найти следующий человек.

Эта история началась с книги, которую никто не собирался покупать. Она кончилась четвергом, который перестал быть просто днём недели.

Между ними — долгие годы чужого молчания, одиннадцать коробок и два почерка, которым наконец нашлось, что сказать друг другу.

Глава 1. Прилив

В тот вторник я должна была каталогизировать сорок два экземпляра «Евгения Онегина» и вместо этого нашла любовь. В порядке обратной хронологии: сначала Онегин, потом любовь. Хотя нет — любовь была первой, просто я этого ещё не знала.

У нас в «Аллее» — так называется наш магазин, я тут работаю полтора года и до сих пор не уверена, «в Аллее» это правильно или «на Аллее», — есть полка, куда книги сдают по наследству.

Официально она называется «Букинистика», а неофициально — «полка, где вещи после людей».

Туда попадают томики с пожелтевшими страницами, чьи-то дипломные работы 1986 года, списанные по ностальгии, и одно полное собрание сочинений Флобера с дыркой от ожога на третьем томе. Я боюсь её продать и вечно возвращаю на место. Дырка аккуратная, круглая, как будто сигаретой. Кто-то читал Флобера и так увлёкся, что обжёгся. Мне кажется, это самое честное описание литературы, которое я встречала.

Двадцать минут до закрытия я подметила, что есть проход между стеллажами, — и Пал Палыч выглянул из подсобки со словами, которых я боялась весь день: — Ася, там прилив.

«Приливом» у нас называется, когда сразу много книг. Человек несёт их коробками, коробки складываются в гору, а гора — в проблему. Поодиночке книги — это книги. Двадцатью коробками — это уже работа, а тридцатью — каторга.

— Одиннадцать коробок, — сказал Пал Палыч и посмотрел на меня так, как смотрят на человека, которого вот-вот заставят разбирать одиннадцать коробок. — Наследница инженера. Отвозила до меня сама. Велела не сортировать, пока не пересчитаю.

— Пересчитаю, — сказала я. — Сортировать буду я.

— Это и есть сортировать.

Мы с ним вечно разговариваем в таком ключе. Пал Палыч вообще говорит только двумя способами: либо повторяет моё последнее слово с вопросительной интонацией, либо молчит. На первый взгляд это невыносимо, но на второй ты обнаруживаешь, что он запомнил, какие книги ты любишь, и уже третий месяц откладывает для тебя тот самый Флобер с дыркой. Не продаёт никому.

Просто откладывает. Я не спросила зачем — иногда вопросы разрушают хорошие поступки.

Коробки занесли после семи. Картонные, старые, обмотанные серым скотчем, на боках химическим карандашом: «книги», «книги 2», «книги грустные». Последнее меня насторожило ещё на пороге, но тогда я не знала, насколько.

Первые три коробки — обычный букинистический мусор: одиннадцать разных «Мастеров и Маргарит» (люди почему-то сдают их десятками, как будто размножаются), полный «Билет в театр оперетты за 1979 год», детская энциклопедия «Что такое и откуда?» с вырезанными ножницами картинками — кто-то вырезал их, чтобы сделать коллаж, и я залипла в неё минут на десять, потому что там был наклеен кит и подписано: «Хорошо киту было бы в Костроме».

Четвёртая коробка была другой. В ней книги лежали не как попало, а корешком к корешку, ровно, как будто их укладывали. А на каждой — то же самое имя карандашом на форзаце: «С. Витковский».

Я разложила их на столе. Роковое решение, между прочим, — если бы я в тот вечер продолжила просто перекладывать книги, ничего этого не случилось бы.

Но я разложила, и получилось, что передо мной лежала чья-то библиотека. Не коллекция — библиотека. У коллекции логика «ценное», у библиотеки логика «моё». Тут был Джером К.

Джером с выпавшим корешком, Довлатов — никакой не букинистический, свежий, осыпающийся, — поэтическая антология «Лирика XX века» с загнутым уголком: на нем что-то написано, но я не стала читать сразу, — и Чейз, «Тигр на охоте». Разваливающийся переплёт, 1958 год, а на форзаце — то же имя: «С. Витковский».

Чейз был последним. Я открыла его случайно, просто проверить, не рассыпается ли внутри, и на сорок седьмой странице увидела запись на полях.

Небрежную, торопливую, чернилами:

«Он не должен был приходить сюда ночью. Глупец. Но я бы на его месте тоже пришёл».

И ниже, другой рукой, мельче и ровнее:

«Идиотка. Двор не просматривается с востока. Он об этом не думал вовсе».

Две руки. Два почерка. Кто-то читал этот детектив вслух, а кто-то — с ним спорил.

Я перевернула страницу. На сорок девятой снова надпись, и снова спор:

«Она спрятала письмо в книге» — кто?

«В „Тигре на охоте“, очевидно. Где ещё прятать письма, если ты смахиваешь на героиню дешёвого детектива».

И было в этих полях что-то настолько живое, что я оглянулась на пустой зал — будто нас теперь трое.

Пал Палыч крикнул из подсобки, что через десять минут закрываемся, я крикнула «сейчас», и мы оба знали, что это неправда.

Честно скажу: я не планировала отвечать.

Планировала закрыть книгу, отнести её к Онегину и лечь спать. Но карандаш лежал у меня в кармане халата, а страница сорок девятая была открыта, и рука сама вывела — мелко, чтобы не разозлить чужую память:

«Вы оба придёте сюда ночью. Так поступают все, кто не может остаться».

Потом я закрыла Чейза, поставила его отдельно от остальных — просто потому, что он не влезал в коробку, так я себе объяснила, — и мы с Пал Палычем пошли домой. Он молчал, я молчала. Это был самый разговорчивый вечер за неделю.

Я ещё неделю приходила к этой полке, как к будильнику: проверять, не сработал ли он. Книга стояла на месте. Ни один из одиннадцати с чем-то покупателей за неделю не проявил интереса к Чейзу, что и понятно — Чейз в наши дни это уже почти археология. Я почти перестала оборачиваться.

А в четверг вместо «Тигра на охоте» на его месте стояла другая книга.

Раскрытая. С новой надписью на полях.

Глава 2. Собеседник

Новая книга называлась «Собрание сочинений в одном томе», издание 1978 года, и была раскрыта на странице двести двадцать. Надпись была чернилами, того же ровного почерка — тем самым, вторым, который спорил:

«Вы впервые за девять лет угадали интонацию. Вопрос: как вы вообще узнали, что спор был о письме, а не о сюжете?»

Я стояла у полки с открытым ртом — хорошо, что витрина «Алеи» не стеклянная, а Пал Палыч в этот момент был на рынке, иначе мне пришлось бы притворяться, что я ищу Библию, — и перечитывала вопрос.

Он прочитал мою строчку. Сказал: «Угадали интонацию». Это было почти признание в том, что моё письмо было разговором, а не надписью в чужой книге. Это было почти рукопожатие.

Карандаш у меня был с собой. Я всё время теперь носила с собой карандаш — по поводу, который мне категорически не нравилось формулировать.

Подумала — подумала долго, минут пять, хотя из них три я делала вид, что выбиваю пыль с верхней полки, — и написала:

«Потому что письма не бывает в сюжете. В сюжете бывают письма в конверте. А это письмо было в человеке. Кстати: вы обращаетесь не к первому человеку, а ко второму. С кем вы всё-таки спорили?»

Потом я закрыла том, вернула на полку и пошла мыть витрину. Мытьё витрины — это моя официальная версия «подождать ответа». Я почти профессионально умею тереть одно и то же стекло.

Он пришёл в пятницу. Я была на месте, потому что работала, и увидела его так, как видят всех: дверь, колокольчик, мужчина, кашляет. Высокий, в куртке с поднятым воротником, капли на плечах — шёл дождь, — немного сутулый. Он прошёл в «Букинистику», и я смотрела за ним из-за кассы, как смотрят за людьми, у которых в руках твоя книга.

Он нашёл её сразу. Это меня и зацепило. Люди обычно ходят вдоль стеллажа, читают корешки, ищут, что им хочется, — а он шёл прямо, как будто знал, где она стоит. Он не знал — я сама поставила том на то место, где раньше стоял Чейз, глупость, конечно, — но он шёл прямо.

Он открыл книгу. Читал. Минуты полторы, не поднимая головы. Потом достал из внутреннего кармана ручку, и у меня упало сердце, потому что ручка была не для подписи. Ручка предназначалась для ответа.

Он написал. Написал, закрыл книгу и пошёл к кассе. Ко мне. Своими ногами, к моей кассе, и в тот момент я поняла, что не знаю, какое выражение лица сделать.

— Возьмите её, — сказал он и положил том на прилавок. — Прошу.

Я посмотрела на книгу. Потом на него. Он был лет двадцати восьми, усталый, с лицом человека, который читал всю ночь, — я знаю такие лица по себе, — и держался ровно, но глаза смотрели не в мои, а на книгу между нами.

— Не думаете же вы, что я куплю её? — сказала я наконец. — Она стоит сорок рублей.

— Я знаю, сколько она стоит.

— Тогда зачем?

Он впервые за разговор посмотрел на меня. И это было хуже всего, потому что во взгляде не было ничего особенного. Просто человек, который спросил «зачем» у продавщицы.

— Затем, что вы в ней уже побывали, — сказал он.

— Я читал.

И ушёл. Не дожидаясь, пока я заведу кассу. Просто развернулся, толкнул дверь, колокольчик отреагировал с усердием, на которое был не способен весь этот вечер, и его не стало. Дождь снаружи сразу заполнил магазин, как будто он его принёс.

Я стояла и смотрела на раскрытый том. На странице двести двадцать один, на полях, ровным чернильным почерком было написано:

«Я спорил с ним все эти годы. Просто он не отвечал. Теперь отвечаете вы. Что мне делать?»

И — я не могу это объяснить — я взяла книгу, пошла к столу, села, открыла её и начала писать. Не в магазине — дома, при свете настольной лампы, со свежим чернильным стержнем, как будто письмо приходило на дом.

«Имя ваше, — написала я, — я всё ещё не знаю. Я в витрине, в „Аллее“, если у вас есть карта города, — правда, теперь я думаю, что не стоит это писать, потому что вы и так всё знаете. Скажите что-нибудь настоящее. Что вы делали в понедельник?»

Я заклеила конверт, как будто письмо надо было отправлять в почтовый ящик, и отнесла книгу обратно на полку.

Утром в субботу я рано поехала на работу. Сорок два Онегина всё ещё не были каталогизированы.

Книга была на месте. Но поля были пусты.

И только в понедельник я нашла внутри неё конверт. Настоящий, бумажный, заклеенный. Не с адресом — с одной строкой: «В понедельник я ходил к врачу. Сказал, что у меня всё хорошо. Так что я врал, и вот куда меня это привело».

Глава 3. Второй почерк

На конверт я ответила так, как отвечают на настоящие письма: бумагой.

Достала из ящика подсобки лист, который держала для упаковки хрупкого, — плотный, кремовый, с лёгкой рыжиной, как обложка старого учебника, — и написала ручкой, не карандашом.

Пиши ручкой, когда хочешь, чтобы тебя нельзя было стереть.

«Если врач сказал, что у вас всё хорошо, значит, вы не рассказали ему про поля. Врачам не положено слышать про поля, это как объяснять стоматологу, что у вас болит на самом деле сердце. У меня тоже всё хорошо. В понедельник я разбирала девятую коробку, нашла там атлас мира 1961 года, где Африка ещё раскрашена чьими-то ручками — розовым и голубым, — и думала о человеке, который красил Африку. Наверное, он тоже врал своему врачу, что у него всё хорошо».

Конверт я заклеила честно, зализывая клапан, как в шестом классе, и вложила в тот же том — на страницу двести двадцать один, где он оставил свой.

Это было глупо, и это было замечательно: переписка, в которой я всегда знала, где он оставил слова, и оставляла свои рядом.

Так у нас выработалось расписание, которого никто не проговаривал. Он приносил письма по вторникам и четвергам — всегда под вечер, когда в магазине уже горели лампы и Пал Палыч уходил в подсобку пересчитывать кассу. Я отвечала наутро.

Между письмами книга жила на полке, открытая, лицом наружу, как будто ждала кого-то ещё.

Пал Палыч, надо сказать, всё заметил раньше меня. Он вообще замечает всё раньше всех — просто молчит об этом до последнего.

— Книга опять раскрыта, — сказал он однажды за обедом, глядя в свой чай, а не в меня.

— Она так лежала.

— Она так лежит уже третью неделю. Раскрытые книги на полке — это, Ася, как раскрытые зонты в помещении. Кто-то должен их закрывать.

Я сложила. В ту же ночь, дома, я перечитывала оба письма и думала, что он вообще-то прав, кто-то должен их складывать, только мы оба как будто не хотим.

В четвёртом письме — я вела счёт, у меня был листок в тумбочке, где я ставила чёрточки, потому что признаться себе, что я веду счёт письмам, я не могла, — он ответил на вопрос:

«Вы спрашивали, что я делал в понедельник. Я не ответил тогда честно, потому что честный ответ занимает больше одной страницы, а я давно разучился писать больше одной. В понедельник я разбирал бумаги человека, который умер. Не буду говорить, кто. В его бумагах было письмо, которое он так и не отправил. Я читаю его уже третью неделю. Оно короткое, я прочёл его за минуту, и это самая длинная минута в моей жизни. Вы спрашивали, что делать с людьми, которые не могут остаться. Я не знаю. Вот и всё, что я знаю».

Я прочла это письмо в пустом магазине, утром, до открытия, стоя. Потом села прямо на пол, у стеллажа, потому что поняла: мне не хватило одной страницы — я хочу страницу вторую, третью, всю его тетрадь.

И вот тут я впервые соврала. Не ему — себе. Я написала бодрое письмо про атлас, про кита, которого хотели отправить в Кострому, про то, как люди оставляют в книгах не слова, а себя, — а про его письмо, про ту самую минуту, не сказала ничего. Как будто не заметила. Испугалась настоящей глубины и нырнула мимо.

Он это почувствовал. В следующем письме, сухом, коротком, он написал:

«Вы умеете уходить от ответа красиво. Кто вас этому научил?»

Я вписала на поля: «Жизнь. Она у нас в городе неплохо преподаёт». И добавила мелко, почти в углу: «А вы умеете задавать вопросы, на которые страшно отвечать. Кто вас этому научил?» — и мы помолчали неделю: он не приносил письма в четверг, и во вторник тоже, и я уже успела перебрать все варианты, от «заболел» до

«передумал», включая самый трусливый — «вовсе не было никакого письма».

А в пятницу он пришёл.

Колокольчик, дверь, дождь. Он вошёл мокрый, в той же куртке с поднятым воротником, прошёл мимо прилавка — даже не кивнул, я успела обидеться ровно на полминуты, — и встал у полки «Букинистика». Взял том. Открыл. Прочёл мой ответ.

И тогда он сказал вслух, тихо, не оборачиваясь, человеку, которого считал пустым залом:

— «Она у нас в городе неплохо преподаёт». — Он усмехнулся. — Знаете, что я вам скажу?

И произнёс это «знаете» так — с этим самым подъёмом, чуть на «а», мягко, лениво, — и я узнала интонацию. Ту самую, с полей. Она сложилась из письма, из чернил, из «идиотка, двор не просматривается с востока» — и вдруг оказалось голосом, живым, в двух шагах от меня, в моём магазине, у моей полки.

Я стояла за прилавком и держала в руках счёт на канцтовары, и счёт дрожал в моих руках, потому что руки не знали, что им теперь делать.

— Скажу, что «жизнь у нас в городе» — это непрофессионально, — продолжил он, не оборачиваясь. — Жизнь вообще нигде не преподаёт. Она только принимает экзамены. А вопросы, — он закрыл том, и я услышала, как щёлкнул переплёт, — вопросы задаём мы. Что тоже непрофессионально.

Он положил книгу обратно. Раскрыл — лицо наружу. И пошёл к выходу, мимо прилавка, и на этот раз посмотрел на меня. Коротко, кивнул:

«Добрый день», — как говорят вежливо продавщицам.

— Добрый, — сказала я.

Дверь закрылась. Колокольчик отвёл душу окончательно.

Я подошла к полке. На странице двести двадцать один, под моим вопросом «кто вас этому научил?», было написано чернилами, тем самым ровным вторым почерком, который я теперь видела — видела! — в движении, в его пальцах, на секунду, как видят проплывающего кита:

«Никто. Мне их не задавали девять лет. Я и не знал, что умею».

И ниже, свежее, ещё не просохшее:

«Кто вы? Я стою в вашем магазине четыре недели и не знаю, кто отвечает мне».

Я смотрела на эти строки и понимала, что нахожусь в точке, из которой потом, в уме, буду возвращаться сюда много раз, как возвращаются к перекрёстку, где свернули не туда. Потому что я могла написать «Это я». Два слова. Двадцать сантиметров прилавка между нами — я бы уже стояла по другую сторону тайны.

Я взяла карандаш.

И написала: «Я — человек, который не может остаться».

Глава 4. Правила игры

Он пришёл за ответом во вторник. Я знала, что придёт, потому что предыдущий его вопрос требовал ответа, а человек, который четыре недели пишет в чужую книгу, не бросает переписку на полуслове. Люди вообще не бросают переписку на полуслове — они бросают её посреди собственного предложения, и потом им всю жизнь мерещится, что там, в тишине, кто-то ещё ждёт продолжения.

Он взял книгу, прочёл и на этот раз не ушёл сразу.

Постоял у полки, потом подошёл к прилавку — уже знакомым движением, как будто мы так делаем всегда, — и положил передо мной лист бумаги.

Сложенный вчетверо.

— Это вам. Не в подарок. Скорее — условия.

Я развернула лист. Почерк был тот же, ровный, чернильный, только написано это было не на полях и не в конверте, а просто так, в руки. Такого у нас ещё не было. Поля — это территория, где можно быть кем угодно. Бумага в руки — это уже я и он, лицом к лицу.

Лист назывался «Правила» и содержал пять пунктов. Он даже пронумеровал их, хотя нумерация выдавала в нём человека, который по профессии имел дело с бумагами, а не с людьми.

Мы не спрашиваем имён. Имена сделают из нас двух людей, а нам пока выгоднее быть двумя почерками.

Мы не ищем друг друга. Ни адресов, ни фотографий в телефоне, ни «случайных» встреч.

Мы не говорим личное. Про покойников — можно. Письма — можно. Живых родственников — нельзя.

Если один из нас захочет остановиться — он просто перестаёт отвечать. Без объяснений. Второй не имеет права искать причины.

Книга всегда возвращается на полку раскрытой, лицом наружу.

— Пункт четыре, — сказала я, — жестокий.

— Пункт четыре честный, — сказал он. — Жестокость как раз в объяснениях. Объяснения — это когда тебе дают кусочек правды и просят на нём жить. Лучше сразу молчание.

— Вы это уже практиковали? С кем-то?

Он помолчал. И я увидела, как он впервые за все наши разговоры — за прилавком, у полки, где угодно — растерялся. Не в словах. В лице. Как будто я задала не тот вопрос из «нельзя» и он сам ещё не решил, к какой колонке его отнести. — Ладно, — сказала я. — Принимаю условия. С одной поправкой.

— С какой?

— Правила должен уметь нарушать кто-то один. Иначе это не правила, а закон. А закон скучен.

Он посмотрел на меня внимательно — так, как смотрят на то, что читали уже годы, и вдруг заметили новую главу.

— Договорились, — сказал он.

И ушёл, и колокольчик на этот раз прозвенел буднично, как будто тоже привык.

Правила продержались одиннадцать дней.

Первые четыре я держалась образцово. Мы писали в книге, по вторникам и четвергам, о книгах, о городе, о почте, о том, почему в понедельник почта закрывается на час раньше, а в пятницу не работает вовсе.

Мы не спрашивали имён. Я даже победила собственное любопытство, когда он упомянул улицу, — а улица была моя, просто на другом конце, — и не спросила, где именно он живёт, хотя внутри всё кричало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.